

Александр Левитов

Степная дорога ночью



Александр Иванович Левитов

Степная дорога ночью

«Пора была самая глухая: сено скошено, рожь сжата, а до уборки проса, овсов и гречихи было еще далеко. К тому же был какой-то большой праздник, чуть ли не успеньев день; следовательно, народу на проезжей дороге совсем не было.

В воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина наступающего вечера...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0026

Александр Иванович Левитов

Степная дорога ночью[1]

Пора была самая глухая: сено скошено, прожь сжата, а до уборки проса, овсов и гречихи было еще далеко. К тому же был какой-то большой праздник, чуть ли не успе-ньев день; следовательно, народу на проезжей дороге совсем не было.

В воздухе ощутительно распространились прохлада и тишина наступающего вечера. Маленькие птички, не видные во время зноя, теперь замелькали по степи, тогда как самая степь постепенно облекалась в какую-то необъяснимую, мрачную тайну, обыкновенно замечаемую в природе, когда, утружденная жизнью дня, она отходит к ночному покою.

Таким образом поля, и дороги, и вешки – все это глубоко задумалось в своей обычной вечерней думе, между тем как и с высоты неба, и из самой глубины непроницаемой дали веяло на вас каким-то едва слышным шорохом, сыпалось и неприметно вливалось к вам в душу что-то в высшей степени сладостное и томительное – и виделось вам, что все это будто бы закрывает собою природу, сооб-

щая ей то особенное выражение, какого не увидите вы в ней никогда, кроме вечера.

На левой стороне дороги, по которой шел я, протекал Дон. Бесчисленными огнями сверкало в его волнах догоравшее зарево; а за ним так привольно расстилалась луговая, низменная сторона, зеленея раздольными покосами и пестреясь неоглядными запашками. Изредка даже и ко мне на большую дорогу заносило оттуда ветром тонкий звон колокольчиков, привязанных к жеребьятам, и крики сельских ребят, которые их сторожили.

Пугаясь этого мрачного, молчаливого пространства, особенно тоскливо ныла душа моя и желала встречи с живым человеком; но как ни напряженно смотрели глаза, ни человека на дороге, ни крыш деревенских изб вдали не показывалось.

Совсем свечерело. Заблагоухали травы и деревья, покрытые обильною росой, загорелись звезды на совершенно безоблачном небе; а на всем видимом протяжении Дона клубилось какое-то седое, неопределенное облако, ярко освещенное молодым месяцем. На востоке постоянно один и тот же угол неба ре-

зала, как обыкновенно называют ее в селах, сухая молния.

Ничто в этот раз не нарушало молчания ночи, только что разве сонного грача шагом своим испугаешь, так он каркнет, с одной вешки на другую перелетит, да там на целую ночь совсем уж и останется.

Вдруг позади меня раздался едва слышный скрип колеса. Я обернулся и начал присматриваться. Не далее как в четверти версты от меня спускалась с горы телега, в которую была запряжена слон-лошадь, так называемая купецкая. Грузно ступала она по туго убитой дороге, побрякивая медными бляхами своей наборной сбруи.

Рядом с телегой шли кто-то двое. До меня доносились их голоса; но я не мог ни расслушать того, что говорилось, ни ясно рассмотреть самих говоривших. Я закурил папироску и сел ожидать их.

– И у этого, милый ты мой, римского папы все цари ненашенские под началом находятся, – с расстановкой говорил один из подъезжавших ко мне. – И этот папа, как таперича об нем в книгах написано, не то штоб стар, не

то шtbody молод, а годов ему, свет ты мой ясный, ни мало, ни много – всего-то две тыщи. Месяц взойдет молодой – и папа молод, месяц к концу – и папа стареется, и так (сказывают вон, историю-то кто читал) до самого конца мира и смерти ему не будет. Вот што!..

– О, господи! – слышалось в ответ на историю о римском папе.

– Да! Вот ты с ним, с таким-то, и совладай поди!.. А вот войну прошлую[2], помяни ты мое слово великое, по его науке французы с нами затеяли, потому он России не любит – веры она не его. Истинно!..

– А Бел-Арап? – спрашивал встревоженный голос.

– Бел-Арап што? Ты Бел-Арапа не бойся. Воевать он на нас пойдет, это я тебе верно сказываю, – да когда? Ты вот о чем посуди. При последних концах он пойдет воевать – вот когда, с антихристом вместе! Так и в Писании сказано: лицом черны и зверообразны, аки мурины эфиопстии...

– Говорят, уж народился антихрист-то?

– Это точно. Тридцать годов уж прошло, как народился, и держат его за двенадцатью

дверьми и за двенадцатью замками, а держат его те замки и те двери, потому как млад он очень таперича есть; а как возмужает, так двери и замки он сразу расторгнет, расторгнумши, уж и на народ бросится; а дожить нам, грешным, до той поры лютой не приведи господи.

Наконец говорившие подъехали ко мне. Один из них был еще молодой парень, весь обсыпанный мукою, а другой – старик. По его широкому синему халату и по старой пуховой шляпенке я принял его за духовного. Действительно, как оказалось, это был сельский дьячок.

– Бог в помощь, земляки! – приветствовал я моих новых спутников.

Они подозрительно осмотрели меня с головы до ног. Короткий сюртук мой, очевидно, привел их в большое недоумение относительно законности моего пребывания на степной дороге в такую позднюю пору.

– Откуда бог несет? – спросил меня старик.

– Да вот из Данкова иду. Тяжело на жаре стало идти, – ночью-то, думаю, не полегче ли будет?

– Знамо, полегше ночью-то будет, – подтвердил мои слова белый парень. – Што это у тебя в зубах-то, любезный?

– Курево такое – папироской зовут.

– Дай попробовать, брат, што-то хитро она сделана-то.

– Поди, с табаком она? – спрашивал старик. – Не приучайся к этому, голубчик. Грешней табаку, я тебе скажу, ничего на всем свете нет.

– Какой же тут грех? – любопытствовал я.

– Што ж это вы в городском сюртуке ходите, а грамоте, надо думать, не знаете?

– Нет, благословил бог, грамоту знаю.

– Ну, так книг божественных не читаете. А в книгах прямо говорится, кто табак-то посеял. Черт его, для людского соблазна, на блудницыной могиле посеял. Вот кто!

Между тем белый парень долго и сомнительно повертывал папироску между пальцами, улыбался чему-то, глядя на нее, курнул, наконец, и возвратил мне.

– Что? Ай не духовито? – спросил я.

– Духовито оно, духовито, да не забори-

сто, – объяснил парень.

– А по-моему, чревобесие это выходит одно... – заключил старик.

Наконец белый парень вспомнил будто что-то и торопливо стал нас приглашать садиться к нему в телегу.

– Пошагистей поедем холодком-то, – говорил он. – Хошь бы улицу для праздника заставить, – разошлись, поди.

– Да хошь и не застанешь, еще тебе лучше: соблазна не будет, – заметил старик.

– Хорошо это тебе говорить, – вспыльчиво возразил белый парень. – Неделю-то целую работаешь, рук не покладываешь, а тут еще и улицы не застань. Оно, пожалуй што, куда складно слова-то у стариков выходят, когда они об соблазне толковать начнут; а сами небось тоже в старину-то не очень на соблазн-то глядели.

– Это ты верно про стариков говоришь; но плоть свою усмирять тоже должен, дабы власти над собою врагу не давать, – продолжал резонировать старик.

– Нечего ее усмирять-то! И так она у нас небось не очень-то разыгрывается. Я вот,

двое-то суток на мельнице бымши, может, двумя фунтами одного сухого хлеба продовольтвовался, – так уж какая тут плоть будет?..

– Сам виноват! Отчего больше хлеба с собой не взял?

– Отчего? На полдня всего ехал-то, а мельник (провалиться ему!) двое суток меня продержал. В сердцах они с хозяином моим, так вот он меня и продержал. На-ка, дескать, посмотри, какую я над твоим хозяином власть большую имею.

– За што ж они в сердцах-то?

– Поди разбери их! Первое дело: мельник у нашего дочь за сына сватал. Не отдал наш-то: я, говорит, дочь свою за мужика отдать не намерен; а отдам либо, говорит, за попа, либо за приказного, – потому из вольноотпущенных он у нас и живет как есть на барскую статью. А другое дело: вздумали у нас церкву строить; а хозяин-то мой с мельником первые, стало быть, насчет деньгов обыватели во всем приходе. Вот мироеды и доложились к мельнику прежде: «Сколько, говорят, ты на божий храм жертвуешь?» А он им и говорит: «Весь кир-

пич на свой счет берусь изготовить, ежели вы церкву на имя Петра и Павла состроите» (а его Петром зовут, а сына-то Павлом, – вон метил куды!). Мироеды и согласились, да к нашему-то и толкнись. И так-то наш мироедов этих самых по шеям со двора гнал, так-то он их ругал ругательски, – услышал потому, как они к мельнику первому за советом ходили... Видят мироеды – не изнять им без нашего церкви, всем сходом просить его стали, штобы, значит, смиловался. «Стройте, говорит, во имя Миколая-чудотворца», – и его-то, к примеру, Миколаем зовут... Тут на сходке-то до драки чуть не дошло с мельником. Один говорит: Петру и Павлу, другой – Миколаю. Наш-то чудак такой – усовещивать стал было мельника: «Куды ты, говорит, в храмострои-тели собираешься, а грамоте не знаешь?» – «Да оно, – мельник-то ему, – грамоте-то хошь я и не знаю, иначе холопом несчастным никогда не бывал, так ты нас грамотой не кори», – обиделся, значит. Наш опять тоже не уступил: «Эх ты, говорит, прямой шут! Я тебе настоящее дело, по доброте души, сказал, а ты лаешься. Истинно, говорит, сказываю вам,

братцы, не его ума эта вещь...» Кто из миру-то поверил нашему, кто мельнику, только с этого времени весь приход надвое раскололся: одни микольскими назвались, другие петровскими – и годов с пять уж прошло, тягаются все меж собой. Драки какие насчет этого самого дела ежечасно бывают – сказать невозможно; а материал, на церкву-то какой сгоряча навезли, кое растащили – лесок-то да железцо, а кое – кирпич там, што ли, али известку – все это дождем да снегами размыло... И уж каких штук ни подпускал хозяин-то мой, штоб по его сделалось. Соберет, бывало, мужиков со всего прихода, выставит им пеннику ведра два и почнет рассказывать, как это к нему во сне аки бы каждую ночь почитай Миколай-угодник является и как он наказывает ему, штоб церкву-то, значит, на его имя поставил. «Ничего, говорит, ты, раб, не жалей только, говорит, волю мою исполняй, – спасенье души от этого дела получишь», – угодник-то будто ему растолковывает. «Вот, – наш-то говорит, – сами вы видите, православные, што я для вас ничего не жалею», а сам вином-то все стариков и накачивает. Сначала

и поверил народ, и многие из петровских на нашу сторону перешли, а потом и верить перестали, потому больно уж часто, угодник являться ему почал, и ходили к нам мужики больше как выпивки и смеха одного ради. И допекли же его этими явлениями. Как только услышал мельник про такие дела, на зубок его сейчас взял: «Станет, говорит, святой угодник холопу несчастному такую милость оказывать, – я вот становому про него объявлю, что народ он только смущает», – и объявил. Тут сперва-наперво становой такую-то хозяину вещь сказал, таково-то тазал его, что он народу святым себя объявляет, – долго он с этого случаю повесимши нос ходил. А там и мужичонки, кто поазартней-то, захочет выпить, к нашему и идет: угости, говорит. Ну, уж нашто и знает, что ежели не угостить, так слушать придется, как он начнет тебя по всему поселку срамотить. Так и теперь еще не забыли этого дела и всё опивают за него хозяина-то, – прост больно!.. Вот мельник и меня таперича за хозяина на мельнице проморил. Доведу, дескать, парня до вечера – пусть праздник промаячит в дороге. Ну, шагай, што

ль, верблюд проклятый, – обратился белый парень к лошади и вытянул ее ременным кнутом.

– Вот они, вражьи-то плевелы – по всему приходу разрослись, – уныло промолвил старик. – Цепки лапы-то у проклятого – всех он их к себе перетаскает. О-о-хо! Велики, велики, братцы мои, грехи-то наши!

– А вы куда ездили? – спросил я старика.

– Благочинный по селам с бумагами посы­лал. Бумаги такие из консистории присланы: внушение духовенству о приложении вящего прилежания относительно распространения в черном народе грамотности и нравственных чувств... Очень уж донимают нашего брата этими дежурствами. Разносишь, разно­сишь эти бумаги-то, а, как я теперича пони­маю, все это одни грехи, потому чувства у вся­кого человека и так есть, а грамоте кто захо­чет, сам выучится... Вот хоть бы теперь: два­дцать два села выходил – таково разломил, а покормить нигде порядком не покормили, – не то штобы кашки али убоинки старику, а и щей-то чрез великую силу вольтют. Скупищие эти сельские попадаи – страсть какие скупи-

щие; всего-то у них, по их словам, нет, всего-то им мало!.. Да кстати, ходимши по селам, к лекарке одной заходил, в дворне тут у одного барина живет, ловкая старуха, рассказывают. Сынины волосы к ней носил, рассказывали, потому, искусница великая она напущенные болезни лечить. Вот они, волосы-то, – добавил старик, вытаскивая из-за пазухи прядь черных волос.

– А разве на сына вашего напустил кто-нибудь? – спросил я.

– Бог его знает! Он у меня с самого малолетства чудной какой-то был. Все бы ему углем да мелом стены чертить; а потом в семинарии с живописцами знакомство свел, рисовать от них научился. С этого самого и стало ему, как я понимаю, потому учиться совсем бросил, и хошь из одного класса в другой его и перетаскивали, – певчим он, видишь ли, был, – однако все в третьем разряде держали, и всегда я думал, что не кормилец он мне, ибо из третьего разряда только священниковы дети, и то при больших хлопотах и расходах, достигают священства, а дьячковы никаких прав не имеют, – все одно что

пастух, даром что лет двенадцать там он – и сам лямку-то трет, и родитель-то, при бедности при своей великой, содержит его в губернии. А там ведь расход-то – о-ох какой! Все животы свои, бывало, туда перевозишь, – само хошь без хлеба сиди... И никак таперича не могу я понять, сколь бы долго ни придумывал, отчего это ему такая блажь в голову зашла?.. И добро бы еще божественные картинки писал либо, что всего лучше и спасительное, образа святые, а то бог знает что изображает. Была тут у нас в селе девица одна дворовая, – правду надо сказать, что ни есть прекрасная девица, истинно ангельской красоты, только очень уж вольным нравом и, следовательно, зазорным поведением обладала, – так он ее листах на тридцати написал: то она у него на картинке за водой идет, то корову гонит, то на яблоню по лестнице лезет. Дивом дивился я, откуда у него такое мастерство взялось: живая совсем на его листах выходила эта девица – стоит и смеется... Полтора года прошло, как он совсем курс окончил, и не то чтобы отцу при старости лет помогать, он сам же на моих хлебах живет. А у меня какие хле-

бы-то? Известно, что двадцатая дьячковская часть – один-то рот иной раз куды тяжело про довольствоваться. Пробовал я ему говорить: што ты, мол, Петруша, места себе не ищешь? Молчит, и ведь не то чтоб он молчал тогда только, когда его упрекать почнешь, – нет! Как от молчальника какого, никогда почитай слова-то не добьешься, и так, я тебе сказываю, скучен он у меня, так-то скучен, что и мое-то сердце все изболело да исстрадалось по нем. Сначала, как пришел он ко мне из губернии, господа наши узнали как-то, что он рисует хорошо, к себе его стали звать, – ну и ходил он к ним, и припасы они мне всякие, ради его, присылали. Только однажды старый барин и говорит мне: хорош у тебя, Степаныч, сынок; артистом даже может быть по живописной части, только, говорит, горд, почтенья никакого благородным лицам не отдает, посократи-ка, говорит, его немного. Ну, я было в эту силу увещевать его стал: помни, мол, Петруша, кто у тебя родитель такой! Дьячок у тебя родитель, последние мы с тобой спицы в колеснице суть, – так не должен ли ты, говорю, сугубое почтение дворянину и благодетелю

отдавать? С этого-то разу, как я теперича вспомню, он и помешался-то больше, ровно он на господ озлился через это, никогда к ним после такого случая уже и не ходил; а присылали они за ним частенько-таки, и приказы от старого барина строгие выходили, чтобы беспрерывно дьячков сын явился на барскую усадьбу картинки писать... Вот, сударь ты мой, что, думаю, делать? Не слушает мой малый барских указов; едят меня за него и господа, и поп, и дворовые – все едят. А тем временем сынок к барину с Кавказа и приезжай, молодой еще, лютый такой – все у него по-военному пошло. Вот и приезжает он однажды к обедне, и мой у обедни-то был. Только замечаю я с клироса, что барский сын так-то пристально в моего вглядывается и с матерью потихоньку что-то пошептывает. Пред концом обедни выношу я барыне просвиру, а он мне и говорит: «Это твой сын, что ли?» – «Мой, говорю, ваше благородие!» – «Вот, говорит, посмотри, как я его учить буду. Их, говорит, в семинариях учат воду толочь, а я теперь почтению его поучу...» – «Ваша, мол, власть, ваше высокоблагородие! Што хотите

над нами, то и делайте». Отошла обедня, вышли в ограду мужики, и барский сын вышел, а мой-то впереди идет. Как зыкнет на него барский сын: «Ты отчего, говорит, каналья, не кланяешься мне?» А мой-то (подумать-то страсть берет!) покраснел даже весь, дрожит так-то и говорит ему: «А ты, говорит, мне отчего не кланяешься?..» Вон оно – слышь? Барину-то и ляпнул: «А ты, говорит, мне отчего не кланяешься?» – и сам тоже канальей его обозвал... Так и обомлел народ-то!.. Так даже пополовел барич-то весь, как осиновый лист затрясся – и ни слова, только, значит, стоит перед моим да глазами его меряет, ровно он его съесть в это время хотел. И сын тоже стоит перед ним и словно даже как будто улыбаётся ему. Только вдруг, глазом моргнуть, кажется, не успеешь, лицо барич сыну-то и искровяни, – и какая тут страсть была, что народ-то весь попрятался даже, потому случай-то этот очень уж грозен был, как это сын-то барича схватит за грудь да об землю его грянет, так даже стон пошел... Таково тут горько барыня стонала да охала, таково грозно сам старый барии на сына моего наступал и му-

жикам своим приказывал бить его, что сердце у меня замерло словно; иначе мужики не послушались – испужались, надо полагать, потому как сын церковную скамеечку схватил и до смерти убить богом божился, кто подступит к нему... Ну, засадили тут его в сумасшедший дом, – очень уж барин хлопотал об этом... Больше же, дивлюсь я даже, насчет там судов или инова чего – ничего не сделали. За это им надо благодарность отдать – помиловали. Целый год в сумасшедшем доме держали сына, а теперь тоже опять у меня живет. Много колдунов смотрели его у меня – испорчен, говорят, – и вылечить его нет средств, потому, первое дело, как узнает он, что я колдуна какого позвал лечить его, сейчас его вон гонит и становому жаловаться, грозит; а второе: бес-то в него, говорят, очень уж лют и силен посажен – трудно его из тела-то выжить...

– Что ж вам сказала лекарка, к которой вы заходили?

– Ничего почти внове-то не сказала. Посмотрела только на волосы и говорит, что действительно по злобе испорчен, и вот трав

каких-то дала, по зорям поить его этими травами наказывала, – может, говорит, и пройдет.

– Все это, я полагаю, врет она, лишь бы деньги содрать, – вмешался в разговор белый парень. – Она многих так-то надула, лекарка-то эта, слышал я про нее. Сам посуди: как она про человеческую болезнь по одним волосам узнать может?

– Этого ты не говори, свет! Не только по волосам, по одному крошечному клочочку от рубашки всякую болезнь узнают, – на то они ведьмами и называются. Была вон тоже в нашем селе такая-то (умерла теперь): «за двадцать верст, говорит, насквозь всякого человека вижу, а больше, сказывала, мне не дадено». У них ведь тоже, свет, одному одно дается, другому другое – не всякому поровну.

– Как это таперича они всю эту науку постигают? – спрашивал белый парень.

– Разно постигают. Иные вон от старших со смертной постели принимают. Было это на виду у меня: сосед был у меня, славный мужик такой, никто про него худого-то и думать не мог; а он, как стал умирать, так-то мучился

жестоко, что некому передать науки своей, так-то стонал да скорбел! Не выйдет у такого человека душа из тела без того, чтобы он колдовства своего кому-нибудь не передал. Вот в это время ты только подойди к нему да скажи: дай, мол, мне, – он тебе и даст, одну руку только дает, и ничего в этой руке ты не ощущаешь, а колдуном сделаешься. После этого колдун и умереть может, потому наследника по себе оставляет – есть где нечисти-то адовой усесться... И тут ты, без всякой помочи, зверем каким захочешь перекинуться – зверем будешь, птицей – так птицей, – только, слышно, все это они через ножи делают. А куда трудно, говорят, им через ножи-то перекидываться, особенно поначалу, – таково-то визжат они в это время, словно режут их.

– Была и у меня бабка такая-то, сказывают, – добавил белый парень, – мачехой отцу моему приходилась, так отец-то подкараулил, как она через ножи-то в свинью перекидывалась, да и украл ножи-то эти и сжег их, так она свиньей навсегда и осталась. Бывало, говорят, подойдет к избе-то в полночь, – хрю, хрю: ножи-то, значит, свои все разыскивала;

а отец дубиной ее и разварганит, так она в свином образе и издохла...

Фамильное предание белого парня так же сильно озадачило дьячка, как сам он час назад озадачил его своими страшными рассказами про римского папу и про нарождение антихриста. Полночная тишина, очевидно, увеличивала страх суеверного старика. При-творясь неверующим в бабку, умершую в свином образе, он тем не менее судорожно-скоро шевелил губами.

Долго таким образом ехали мы. Разговор не клеился. Белый парень начал было рассказывать, как в Ельце одного мещанина (и ведь непьющий совсем человек-то был!) черти на мельничную сваю втащили, а свая на самой середине реки стояла; но рассказ вышел вялый какой-то. «И как это ухитрило его забраться туда?» – неоднократно в глубоком раздумье спрашивал себя белый парень; но полночь не давала ему никакого ответа на этот интересный вопрос.

– Батюшки! А ведь сверток-то к нам на село мы пропустили, – возопил старик.

Неподдельный ужас отразился на лицах моих спутников.

– Обшел! – сказал шепотом белый парень.

– Обшел! – еще тише повторил дьячок.

Оба они были решительно неподвижны. Как будто воочию видели они, что эта тайная сила, которая, по их выражению, обошла их, взяла лошадь за узду и ведет совсем не туда, куда им следует ехать. Выше облака ходячего, ниже леса стоячего летит как будто за ними

сила эта, хватает их всюю сотнею когтистых рук своих, и тащит их за собою в непроходимый и дремучий лес, и гогочет от радости. Так велик был страх моих приятелей, с которым они произносили роковое: обшел!

– С малолетства ежжу по этой дороге, – заговорил старик, – каждый куст почитай заприметил, а теперь вот сверток потерял. Подержи лошадь-то, свет, пойду-ка я с богом. Господи благослови! – молился старик, отправляясь как будто на верную смерть.

– Иди, иди, дед! Двух смертей не будет, одной не миновать, – прервал белый парень.

Меня очень занимал этот детский страх, эта не колеблемая ничем вера в вещи, никогда и никем не виданные. Я никак не мог согласить фактов, только что виденных мною, с давно известным положением, которым думают характеризовать русского человека: не пощупавши, дескать, не увидит и не поверит.

Да ощупаешь ли ты эдакую степь-то страшную? Да почему ты узнаешь, на какие царства пошли те дороги ее бесконечные? Нет! Ничего такого ты в степи не проведаешь. А ты уж лучше так ступай по ней – по кормили-

це – со крестом да с молитвой. Потомит тебя в ней, как посудишь, и жаром и холодом, и году всякого вволю наприimesься; а то на лихого человека, может, по дороге-то набежишь, так в овраге загинешь; а то и без лихого человека, вьюга как-нибудь, пожалуй, прихватит; а все-таки ничего! Все-таки она, степь-то, твое молодецкое счастье жалеючи, иным разом возьмет тебя да куда надо и выведет...

– Перьхрестись, братец ты мой! – неожиданно посоветовал мне белый парень. – Сторона здесь такая дикая – провалиться бы ей – нечистая сила над ней власть большую имеет.

А сторона была как и всякая другая сторона: огромный буерак, поросший мелким кустарником, который, по мере отдаления от большой дороги делаясь все более и более крупным, превращался, наконец, в дремучий строевой лес, перерезывал дорогу; мост какой-то навозный, неведомо как и на чем утвержденный, пролегал через буерак; верста со сбитой макушкой и, следовательно, не показывающая верст, пестрелась на той стороне моста, а дальше торчали вечно думающие

вешки-сироты. Вот и все. Представляя обыкновенную дорожную картину, местность эта, облитая месячным светом, тем не менее была полна какой-то невыразимой прелести.

– Видишь, вон лешище-то какой здоровый по буераку пошел, – конца ему нет, сказывают. В самую, говорят, Сибирь тем краем уперся... И теперича, ежели лошадь у кого сведут, беспременно ее тут искать следует, потому раздолье тут конокрадам. И какие они дела в старину тут обделывали, старики-то почнут рассказывать – слушать страсть. Теперь ничего. Давно уж про разбойников не слышать; а только вот нечистая сила больно уж завладала этим местом. Редкий кто проедет, чтобы она не издевалась над ним.

– Что же, может, с тобой что-нибудь здесь случилось? – спросил я.

– Нет, самому мне, признаться, ничего не доводилось, а вот мужичок один, правду надо сказать, через это самое место смерть принял. Едет он однажды, братец ты мой, из города, после полуден уж едет, и видит, как это на небушке туча показывается – такая-то, сказывал, страшная туча. Вот он себе и думает, как

бы, дескать, туча-то в поле меня не застала. (Страсть как грома покойник боялся.) Думает он себе так-то, как бы поскорее до дома догнать, – глядь: барашек ему навстречу по дорожке-то и бежит – такой-то хороший барашек, белый как кипень. Дай-ка, думает, возьму я барашка-то, – хороша, мол, скотинка-то больно. Подозвал он тую скотинку к себе, в телегу ее посадил, и так-то почал ластиться к нему ягнышек! Вишь, умный какой, думает мужик, понимает, должно, что я его от смерти спас, потому беспрременно волки бы его одного на степи разорвали. А молонья-то так и сверкает, так, то есть, в очи прямо тому мужику и сыплется. Чтой-то, мол, господи, молонья ныне какая, живая словно – так и жужжит около телеги. Жметя к мужику барашек, под тулуп все норовит, да вдруг (на-кась!) человеческим голосом и говорит ему: «Бя-а-а, дядюшка! пусти-ка, говорит, ты меня в рот...» Что ж ты думаешь? Как это он сказал по-человечьему-то, так и остолбенел мужик. Языка, говорит, лишился – и уж не помню, говорит, как я его с телеги-то спихнул. Только что, говорит, успел я его с телеги спихнуть, гром в него как

грянет, так и разразил всего – только зола одна на дороге осталась, да такая, выходит, смердящая да черная та зола. И ровно в это самое время вихорь по лесу-то взметался, ровно волки голодные, взвыла проклятая нечисть, как это громом-то ее колотило... Вот он, барашек-то, какой вышел! В рот мужику от грома господня забраться задумал! А то еще: только уж это, милый ты мой, приятель мне один говорил (и теперь он по соседству от нас в батраках живет), так тот не соврет – все единственно, значит, как бы теперича все это со мной случилось. Было это дело зимой, после Рождества вскорости, – только был он как в это самое время без места, поп наш и говорит ему: «Повези-ка, говорит, ты меня в город, – больно уж у меня свой работник-то занят». – «Что ж, говорит, пожалуй, повезу», – и поехали. Едут так-то они в самую полночь по этому месту, поп-то и усни, да и парень-то, говорит, и я-то, кажись, тоже грешным делом маленечко прикурнул. И вижу, говорит, я во сне: таково-то мы шибко едем с попом, сердце мрет. Знаю, говорит, сам, что сплю, и думаю: ох, мол, проснуться бы надо, а то, пожалуй,

разобьют нас лошади-то, – и проснулся. Что же? Стоят лошади на этом самом месте проклятом, снежок эдак моросит, и такая-то светлынь стоит – смотреть любо, – тоже, вот как и теперь месяц тогда светил. Глаз-то, говорит, как следует не продрал еще хорошенько, а уж чертями лошадей выругал: что, мол, стали-то, леший вас побери! Ну, обнакновенно, значит, кнутом и по той и по другой знатно раза два съездил – всё стоят. Что, мол, за притча такая? Да как глазами-то, говорит, вскину вперед, такое-то увидел, в жисть, говорит, никогда не забуду. Перед самыми носами у лошадей, поперек дороги-то, чучело эдакое-то, разве сажон в пять, черный-расчерный весь, и стоит и ехать им не дает. А около его, словно вон мошки весной, так-то толкуются, так-то прыгают да визжат здорово разные эдакие чертенята маленькие, с птицу вон какую-нибудь – воробья не больше, и такая их тьматмущая летала и кружилась над ним, эдаким высоким столбом, – до самого до неба, говорит, тот столб доставал... Долго тут, сказывает, слова одного не мог вымолвить, потому смотрит на него чучело (такие-то буркалы

красные, так и жгут наскрозь!), и уж насилу-то с передка в кибитку к попу и свалился. Что ты, поп-то спрашивает, ай, говорит, приехали? Батюшка, говорю, взглянь-ка, что на дороге-то делается. Молитвы тут поп стал читать всякие, они так-то помаленечку редеть начали, разлетаться, да так (не скоро, иначе ж) все до единого и изгасли... Вот оно какое это место! Недаром исстари еще названье ему, проклятому, положили: *Большими гробницами* прозвали.

– А ты не слыхал ли, отчего же льнет нечистая сила к этому месту? – спросил я.

– Проклято оно пустынным одним в старину. Тут (видишь ли) село когда-то стояло, старики сказывают, – здоровое такое, говорят, селище было, верст на пять тянулось. И был пустынный родом из этого самого села, и спасся он в недалгих местах отсюда в пещере. (Показывают место-то это и теперь, еще в целости сохранилось.) Только мужики-то, родичи-то его, – все до единого страшные разбойники были. Запоздает, бывало, кто-нибудь на дороге, попросится к ним ночевать, уж они живого никогда не выпустят, потому ежели и

удавалось иным разом вырваться из избы, так соседи ловили и опять в ту же избу беглеца представляли. Так уж у них заведено было – помогали друг дружке... Очень жалел их пустынник и часто к ним на село приходил сучинять их: оставьте, говорил он, жисть вашу незаконную, братцы, руки-то свои, говорил, вы бы помыли, в крови они у вас, руки-то! Колотить они его, по сказам выходит, здорово под пьяную руку колотили, а советов не больно слушали что-то. Только видит пустынник, что ничего с разбойниками поделывать нельзя, взял однажды богу помолился и проклял у них реку. (Река у них тут в буераке-то протекала.) Остались мужики без воды и завыли. Уж они его умоляли, умоляли, чтобы он заклятие с реки снял, – не смиловался. Много денег тут потрачено было. Всё, значит, разным докам платили, чтобы разговорили реку. Известное дело: колдуны любят с человека завсегда деньгу взять – и тут так: деньги-то обирали, а с рекой поделывать ничего не могли. Вот разозлились мужики на пустынника и убили его, а он перед смертью-то не то что реку, а и село-то все проклял. Вот тепери-

ча *сами-то* и завладели этим местом; а село давно все запропало: коих, значит, в Сибирь послали, кои пожаром выгорели, а то на новые места выселились... Наш поселок недалеко от этих мест, так тоже и наши мужики знают, что река тут текла, затевали было мельницу строить. Авось, думали, родничок найдется, иначе тоже уж каких док в овраге-то не перебивало, – не нашли родничка. Англичин тоже один из Питера приезжал, колдуннице, сказывают, единственный. Долго он тут с горки на горку похаживал, канавы да ямы разные рыл, тоже до причинного-то места дорыться не мог. Только англичин этот надул-таки наших посельщиков здорово. Пришел однажды с похода своего из буерака и говорит мужикам: заклятье, говорит, великое, братцы, на вашу реку наложено, только я, говорит, в чем тут сила – сразу узнал, и беспрременно, по моим наговорам, река опять по-прежнему потечет. Вот, говорит, через неделю у меня составы такие будут готовы, которыми я, говорит, шутов из родников выгонять буду, так вы мне к тому времени тысячу целковых да коня самого лучшего припасите.

А по сказам-то его выходило, что самый большой родник, из какого, значит, река, почитай, всю воду имела, лошадиной головою пустынный заткнул. И ежели, говорит, голову ту ототкнуть, так такой столб воды из родника зашвиристеть должен, что всю губернию, пожалуй, затопил бы, ежели бы, то есть, заговоров таких против воды не знал он. Отдали ему деньги, и лошадь тоже отдали. (Мужичок тут один жеребчика на корму держал, – важный жеребчик такой, – тысячи бы две за него, поди, лемонтеры на Покровской отвалили.) Точит разные балясы англичин и жеребчика пробует. «Как бы, говорит, мне, братцы, голову свою в буераке за вас не сложить? Беда, говорит, если лошадь не резва и вывезть меня в пору не вывезет, совсем, говорит, затону...» – «Авось бог! Авось вывезет?» – наши-то его утешают. Только пробовал, пробовал англичин жеребчика-то да и пропал вдруг и с деньгами, какие с мира собрал. Так родник-то и теперь стоит лошадиной головою заткнут... Эх ты ма!.. Все-то нас обманывают, все-то надувают!..

– Одначе ж слезай, милый человек, и мне

сверток пришел. Вишь, вон крыши-то завиднелись, – тут наш поселок и есть. Зашел бы ты к нам ночевать-то, а то как ты теперича пойдешь один?

– Нет, спасибо! Привык я по ночам-то ходить. Пятачка будет тебе за труды, землячок? – спрашивал я белого парня.

– Кой там пяточок? Свечу про мое здоровье поставь. Прощай! Дай бог путь-дорогу.

И я остался один в ярко светлевшейся степи. Против воли зарябились у меня в глазах и чучело в пять сажен, и маленькие чертенята – воробья не больше, по выражению белого парня. Слышалось мне даже, что белый барашек бежит за мной, – и по телу пробегали какие-то холодные, заставлявшие вздрагивать струйки.

И была, если можно так выразиться, самая глубина ночи. Ни малейшего следа жизни нельзя было подметить на этом неоглядном пространстве. Только по обеим сторонам большой дороги выстроились громадные стоги сена – и незнакомому с местностью проезжающему кажутся они гигантами, быстро несущимися по степи. Слышится ему топот

их тяжелый и быстрый – и невольному чувству страха поддается пугливое сердце. То овсяник-медведь напугал табун лошадиный. Вон они, вытянувшись в струнку, полетели к светлому Дону. Не кто другой это, как лошади, потому что при всем том, что далеко ускакали они, еще можно видеть, как месячный луч скользит по хребтам их, жидким и слабым как будто, но которые с такою славой и так долго носят на себе славное войско донское.

А вот из-за густой купы вешек мелькнули белокаменные избы придонского села – и тут тоже беспробудная тишь. Спит село – и спит, можно смело сказать, крепко и сладко, потому что летние работы, характерно называемые в степях *страдай*, заключают в себе редкое усыпляющее свойство, так что будь хоть какой удалой молодчина, а если он день-деньской промаячится на покосе, так в полночь небось не будет он волком степным красться к гумну своей любви. Нет! Не слышать ему в эту ночь медовых речей своей разлапы сердечной, – огненных глаз ее целовать молодцу не придется; а если он кого и поцелует, так сонный поцелует подушку свою, к ко-

торой пригвоздит его страда; а если он кого и приголубит, так только подобие одно голубицы своей, которое в душе человека, устали и сна не знающей, обыкновенно рисует сон благодатный.

Спит все; на этой общей могиле раздаётся однообразная, крикливая песня сверчка. Сквозь дальний и редкий перелесок чуть заметной звездой мелькает чумацкий огонь. Густым клубом расстилается по небу сизый дым от этого огня. Смотрит в задымленное окно лачужки своей одинокая бессонная старуха на дым этот и крестится, – крестится и думает: отчего бы этот дым такой сильный был? И пришла к ней в старую голову мысль, что над тем селом, надо полагать, расстилается дым этот, куда отдана замуж ее ненаглядная дочка... И еще пуще, чем прежде, затужила и заскорбела старуха в своей одинокой избенке, – и так-то слезно взмолилась она тогда к матери царице небесной, чтоб дала она ей крылья легкой пташки певучей, чтобы полетела она, сирота горемычная, на тех крыльях легких чрез поля, через Дон и сверх лесу к красавице дочке своей, проведать – не содела-

лось ли над ее домишком горького горя – пожара лютого?..

Ложись, спи, старая бабка! Еще больше, пожалуй, загорюешь и затоскуешься ты, когда ненароком увидишь, как на дорожном кургане загорятся очи нечистого духа – сторожа старинного клада, зарытого в этом кургане; а я еще послушаю сладко-мучительного безмолвия ночи...

Как река в половодье, заширела дорога при выходе из села. Гигантскою птицей вскинулась она на гигантскую гору, осеребрил ее там, окаймленную пушистою травой, светлый месяц, и потекла она дальше, как река какая серебряная, по неизмеримым пределам своим.

Хорошо в это время вольному человеку думать и знать, что волен он, как орел-птица, и что нет тебе конца, русская дороженька привольная!..

Примечания

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1. М., 1874, с. 53—79. Впервые опубликовано в газете «Русская речь», 1861, NoNo 65 и 66 под заглавием «Проезжая степная дорога. Ночь (Очерк)». Включался в другие прижизненные сборники: «Степные очерки», т. I. СПб., 1865 (под первоначальным заглавием) и в книгу: А. Левитов. Соседи. Степные очерки. СПб., 1868.

[^^^]

2

...войну прошлую. – Речь идет о Крымской войне 1853—1855 гг.

[^^^]